

Вечером того дня, когда умер Михаил Петрович, я сидел дома, думал о нём и вдруг ощутил невероятное одиночество и пустоту в мире, отсутствие какой-то важной опоры в своей жизни... Думаю, другие его студенты почувствовали в тот день нечто подобное... Многие в России знали Лобанова как фронтовика, всю жизнь ведущего свой бой, сначала на полях Великой Отечественной войны, а потом на поле литературы, как глубокого критика и публициста, автора книг о Л. Леонове, А. Островском и С. Аксакове, автора нашумевших и до сих пор не теряющих своей актуальности работ “Просвещённое мещанство”, “Освобождение”, книг и статей, по которым можно преподавать основы художественного творчества – “Мера художественности”, “Бессильная красота”, “Образ и схема”, “Правда жизни и её превращения”. Всё это так. Мы тоже читали его книги и его статьи, видели в нём патриота своей страны и учились у него литературе и жизни. Но для нас, студентов, Михаил Петрович оставался, прежде всего, человеком, которого мы любили и который любил нас.

Вот он поднимается по лестнице между вторым и третьим этажами Литературного института, слышны его мерные шаги, вот заходит на кафедру, чтобы взять журнал, потом возвращается в аудиторию номер 11. Улыбается нам, оглядывается: подошли ещё не все. “Ну, давайте подождём немного”. А пока сидим, внимательно посмотрит на одного из нас и заведёт разговор – ему важно узнать не только, что его студент пишет, но и как живёт. Потом ещё выберет кого-нибудь, протянет журнал и мягко предложит: “Будете вести сегодня?” – и даст несколько указаний. К ведению конспекта семинара он относится серьёзно: нужно записывать, “можно не всё, но самые важные, узловые мысли”. Постепенно подтягиваются опоздавшие, многие едут после работы. Михаил Петрович наденет очки, пододвинет к себе рукопись и скажет: “Ну что, начнём”.

В обсуждении он как будто не участвует, даже во время жаркого спора медленно просматривает лежащие перед ним листы, но всё слышит и иногда вдруг быстро поднимет взгляд и переспросит: “Как вы сказали?” – а затем удовлетворённо улыбнётся тому, что нужная мысль прозвучала в обсуждении: хорошо, хорошо. А когда уже все выскажутся, в аудитории повиснет тишина, он оглядит нас, словно бы выискивая того, кто отмолился, и тогда польётся слово мастера, мерное, широкое, как река, обычно на час-полтора. Его выступление всегда внутренне логично, и если иногда какая-то особенная мысль уведёт его в сторону, выльется в рассказ о каком-то далёком происшествии в его жизни или в литературе, потом он непременно вернётся

по основному руслу и продолжит с того же места, на котором прервался: увлекаясь, он, тем не менее, всегда помнит, о чём ему нужно сказать, придерживается незримо существующего плана. Помню, в первые годы обучения мне часто хотелось, чтобы Михаил Петрович больше говорил о моём тексте, казалось, зачем эти отступления о классической литературе или о каких-то мало знакомых мне личностях. Потом только, возвращаясь к старым семинарским записям, я вдруг понимал, что эти отступления были именно про меня, но только не про существующего, а как бы про меня идеального; эти отступления показывали, каким мне надлежало бы быть: посмотри, может, это твой путь? И кроме того, ещё много позже я осознал, что предметное обсуждение своего текста нужно заслужить, и естественно, что разбирать по мелочам то, чего вообще не существует как художественного произведения, бессмысленно и даже вредно.

Михаил Петрович был разным. Чаще всего добрым и ласковым, но иногда и грозным. Помню, после одного из семинаров я начал горячо спорить с ним по поводу известного церковного деятеля, очень знаменитого в те годы, о котором Михаил Петрович отозвался с некоторым неодобрением. Разговор происходил на лестнице, мы медленно спускались вниз. Наконец, на одном из пролётов он остановился, прервал меня и вдруг так резко сказал: “Знаете, я вам сейчас скажу, и мне всё равно, что вы обо мне думаете. Я со своими студентами никогда не заигрывал. Я жизнью своей всё доказал”, — и как-то сразу исчез весь мой дерзкий молодой задор. Он смотрел на меня так сурово и спокойно и казался огромным исполином по сравнению со мной, задыхающимся молодым студентом. Этот момент я не забуду никогда: что-то большее, чем просто мнение по частному вопросу, я вынес из этого разговора на лестнице. Михаил Петрович действительно никогда не заигрывал с нами, никогда не старался понравиться, угодить молодым, и подсознательно мы всё это чувствовали, и в том числе за это всегда его уважали.

Воспоминаний о тех уроках, которые он в тот или иной день преподавал нам, у каждого наберётся немало. Например, хорошо помню, как они с Настей Черновой готовили книгу “В шесть часов вечера каждый вторник. Семинар Михаила Лобанова в Литературном институте”, состоящую из воспоминаний о семинаре, нескольких статей самого Михаила Петровича и рассказов тридцати выпускников, молодых писателей, почти не известных широкому кругу читателей. Михаил Петрович говорил, что в этих рассказах — обнажённая жизнь страны; что эта книга покажет, что Россия жива и в ней по-прежнему столько талантливых людей! В тот вечер на семинаре он противопоставлял эту книгу другому сборнику, объединяющему рассказы десятка молодых раскрученных авторов, удостоенных различных премий. Вот, говорил он, с одной стороны, живая жизнь народа, а с другой — внутренняя омертвелость молодых интеллектуалов. Я был с ним, разумеется, согласен, меня только мучило, что при всей своей омертвелости произведения этих самых модных современных авторов казались сделанными лучше, чем наши. Помню, высказал это Михаилу Петровичу и стал даже убеждать поправить, эстетически выверить рассказы студентов перед публикацией книг. Он внимательно посмотрел на меня, кивнул, а потом произнёс: “Я вас понимаю. Но мне кажется, это неважно”. То есть не “менее важно”, не “стоит на втором плане”, а неважно вообще...

Это было тогда для меня настоящим потрясением! Символическими и предельно актуальными кажутся мне сейчас эти его слова. В наше время обездушенного эстетизма, когда редакционная политика целых журналов, как либеральных, так и патриотических, может целиком сводиться к поиску “хорошей сделанности”, он мог вот так вот с мягкой и спокойной брезгливостью отодвинуть в сторону то, что ему казалось неважным. Живая жизнь народа здесь, бьётся в твоих руках, а ты рассуждаешь о какой-то стилистике! И ведь это говорил человек, требовательный к слову, я знал это и убедился потом, когда при подготовке к защите диплома он сидел со мной над текстами и подолгу останавливался на каждой неточной фразе: “Подумайте, как здесь лучше сказать”, “Нет, нет, это не подходит”. И в то же время показывал резко и без тени сомнения, что же должно быть выше и важнее для нас: что дело вовсе не в том, в какую обёртку завернуто, а в том, живое ли, здоровое там, внутри.

Впрочем, чаще всего, конечно, он учил нас ласково, как маленьких детей, которыми мы, в сущности, и были для него. Как-то, съездив первый раз на Форум молодых писателей в Липки, я пришёл на семинар и стал говорить,

что там, у либералов, много талантливых молодых ребят, и мы должны попытаться привести их к себе, и это было бы здорово. А он так лукаво сощурился и вдруг с улыбкой спросил: “А вы сами, Андрей, часом ещё не либерал?” И тогда я как-то смутился и стал отчаянно доказывать, что нет и никогда не буду.

А ещё Михаил Петрович учил нас своим живым примером. Помню, молодой талантливый писатель во время поступления в Литературный институт по каким-то причинам вдруг раздумал поступать и не пришёл на собеседование. Михаил Петрович, читавший его работу, поданную на творческий конкурс, и высоко её оценивший, нашёл незадачливого абитуриента и добился, чтобы для него устроили собеседование и всё-таки приняли в семинар в этом же году. Он и не подумал о том, что ему, восьмидесятилетнему профессору, известному на всю страну критику, негоже бегать за молодым парнем (многие и многие преподаватели не снизошли бы в такой ситуации с высот своей гордости и значительности), а Лобанову было важно, что парень талантлив, что ему необходимо стать студентом Литинститута, чтобы развить свой талант.

И сколько ещё таких уроков Михаил Петрович преподавал нам!..

Он учил нас тому, что критика есть не просто разрозненные эстетические замечания по тому или иному произведению, но целый мир, созданный мыслью и волей, в котором царствуют не философская рассудочность, а ясность и простота логического вывода и теплота художественного чувства. Учил тому, что публицистика есть не гневное отстаивание тенденциозной позиции, которую можно выразить двумя-тремя “формулами-заклинаниями” (что особенно часто встречается сейчас, в обстановке тотальной информационной войны), а органичное следствие глубокого мировоззрения, способности ставить точный диагноз, проникать в самую суть проблемы. И наконец, учил тому, что есть подлинная литература и как она связана с творческим поведением и с внутренним содержанием личности. Помню, как часто он приводил нам слова Пришвина о том, что прочные вещи удаются “только при условии цельности своей личности”. Но так бы и осталась для нас эта фраза загадочной красотой, если бы в течение нескольких лет не встречались мы постоянно с личностью самого Михаила Петровича, постепенно проникая в глубину его мировоззрения и его отношения к литературе и к жизни.

И вот теперь, когда он ушёл и ему уже нельзя позвонить и услышать на другом конце это до последнего бодрое, несмотря на возраст и болезни, “Андрей, дорогой...”, нам остались воспоминания и, конечно же, его книги и статьи, до сих пор хранящие то, что он думал, что пережил, словно бы источающие тепло его рук.

На следующий день после того, как я узнал, что Михаила Петровича не стало, я взял с собой одну из его книг, а потом в метро открыл наобум. “Что такое творчество? – прочитал я. – Сколько из пишущих людей думает, что исписанная ими бумага и есть творчество. А ведь творчество – это не только писание, но, прежде всего, нравственное делание самой личности писателя, влияние его на других людей, распространение вокруг себя главной идеи своего характера. Жена одного маститого писателя рассказывала, как однажды заболела тяжело их маленькая дочь, а муж нашёл в себе силы, чтобы не отрываться от письменного стола, продолжать в этот день писать (“ни дня без строчки”), и было видно, что сидевшему рядом писателю лестно слышать это. А может быть, самое-то высокое творчество и ждало его в те часы не за письменным столом, а у постели больного ребёнка, когда в писателе срываются “профессиональные” и все прочие наслоения и обнажается человек, боль отца, шире – сострадание к людям. Из таких образующих моментов и складывается сокровенный опыт личности – самый глубокий источник творчества”. А дальше, важнейшее: “Самое бытие человека – это творчество наращивания внутреннего опыта и отдача его окружающему” (“Из памятного”). И вот, подумал я, так и Михаил Петрович отдавал нам не только знания о литературе, но ту часть своего внутреннего опыта, которую в данный момент мы могли вместить в себя.

На отпевании в храме Михаила Архангела было темно и даже мрачно. Шла мерная, суровая служба, но такой созвучной она казалась личности Михаила Петровича, являлась как бы естественным продолжением суровой высоты его собственной жизни. Он жил перед лицом вечности и нас призывал мерить свои слова и поступки самой высокой меркой, по большому счёту – мерить вечностью. И мы учились у него жить так, чтобы если не соответствовать,

то хотя бы ощущать эту мерку рядом, знать, что она есть, вот здесь, совсем рядом с тобой, что именно с ней ты должен соотносить себя и свою жизнь.

А на поминках было неожиданно светло и оживлённо. Мы сидели за несколькими столами, и каждый поочерёдно говорил что-то о Михаиле Петровиче. Меня поразило, как один из пришедших вспомнил, что первый раз встретился с Лобановым почти шестьдесят лет назад! И если даже для меня, студента, знавшего его одно десятилетие, Михаил Петрович представлял собой целый мир, то каково было осознавать, что есть множество других людей, с которыми он был знаком, которым помогал, которых учил, когда нас ещё не было на свете — и тогда ещё более расширился для меня образ Михаила Петровича, и хотя не вмещался в сознание, но смутно угадывались размеры этой огромной личности.

А потом, вечером, когда я возвращался домой с поминок, это ощущение отступило. И Михаил Петрович опять стал не великим критиком, которого знали и уважали тысячи людей, а дорогим и любимым человеком. И можно было закрыть глаза и вспомнить его добрую и даже озорную улыбку и то, как он с силой моргает обоими глазами. И с каждым таким воспоминанием в жизнь входила тяжесть настоящего.

Он ушёл, но жизнь его разлилась в мире и сохранилась в каждом из нас. Мы остались, каждый со своим характером, со своими особенностями, каждый со своей дорогой и судьбой, но какое-то невидимое внутреннее “лобановское” вещество будет теперь незримо действовать в нас до самой смерти.

Сможем ли мы передать это вещество другим? Будем ли достойными звания его учеников?